

# Игорь Северянин: БЕРЕЧЬ ЖАДО ПОДРУТ

Король в изгнании... Редко какое словосочетание таит в себе столь мощный заряд драматизма. Оно подразумевает обязательно трагический, причем из выскокой, может быть, античной, трагедии сюжет, в котором с предельной ясностью обозначены его высшая и низшая точки. Как правило, сюжет этот развивается по вертикали, сверху вниз, и в чем-то сродни когда медленному, когда стремительному падению.

Высшей точкой, кульминацией подобной судьбы является безусловно коронация, в какой бы форме она не происходила (без этого претендент на престол так и останется претендентом, принцем, соискателем), — низшей — изгнание, обрекающее некогда сиятельную особу на унижение, подчас бездомность, а то и жестокою нищету. Но вот парадокс. (А может быть, — кто знает! — не парадокс, а закономерность?) Именно в изгнании нередко проявляется величие духа потерпевшего крушение, а на скудные дни материальных лишений приходится расцвет человеческого потенциала, доселе сокрытого под ослепительной мишурой богатства, славы и, как почти неизбежное следствие всего этого, напыщенной велеречивости.

Именно такая метаморфоза произошла с единственным в мире «королем поэтов», публично, с соблюдением определенной процедуры, удостоившемся этого несколько экзотического звания.

Все началось с набранного аршинными буквами объявления в московской газете «Власть народа». «Поэты! — гласило оно. — Учредительный трибунал созывает всех вас состязаться на звание короля поэтов. Звание короля будет присуждено публикой всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием».

В мероприятии, состоявшемся в Политехническом музее 27 февраля 1918 года, участвовало более двух дюжин поэтов, среди них такие знаменитости, как Маяковский и Бальмонт, занявшие соответственно второе и третье места. Первое же досталось 30-летнему Игорю Северянину. Таков был выбор зрителей, которые при полном аншлаге опустили в урны с фамилиями соискателей специальные талончики.

«Северянин принял свое избрание торжественно и помпезно», — вспоминал позже поэт Иван Грузинов, не скрывавший своего негативно-пристрастного отношения к преуспевшему коллеге.

Тут он был не одинок. Даже те, кто приветствовал появление на поэтическом горизонте новой звезды, ярко и внезапно вспыхнувшей, впоследствии изменили свое отношение к триумфатору. Публично обвинял его в дурновкусии Валерий Брюсов, который некогда горячо хвалил имевший сенсационный успех сборник Северянина «Громкокипящий кубок» и тем самым успех этот как бы узаконил. На отсутствие собственной темы у поэта сетовал с огорчением Блок, в свое время разглядевший в авторе «Кубка» «настоящий, свежий, детский талант». А язвительный Ходасевич писал: «Слишком изучил Северянин, что вызывает аплодисменты, что нет».

Но и то, что, мягко говоря, аплодисментов не вызывало, лило воду на мельницу удачливого поэта. Свою лепту во



всероссийскую славу Северянин делал же Лев Толстой. Еще за пять лет до «Громкокипящего кубка» в Ясную Поляну попала одна из северянинских брошюр, изданных тогда еще безвестным автором за свой счет. Брошюра называлась «Интуитивные краски». Кое-что из нее прочли Толстой, тотчас «разразившемуся потоком возмущения», как не без удовлетворения писал в автобиографических заметках объект этого самого возмущения. А так как едва ли не каждое слово яснополянского старца подхватывали газеты, то, продолжал Северянин, «всероссийская пресса подняла вой и дикое улюлюканье, чем и сделала меня сразу известным на всю страну».

Так начались золотые дни «короля поэтов». Еще его саркастически называли — разумеется, за глаза — «Уайльдом с Подъяческой». Оскар Уайльд и впрямь был кумиром Северянина, который ходил на знаменитого английского барда даже внешне: «Высокий, черный, кудрявый... в длинном сюртуке, с хризантемой в петлице, ну, словом, — резюмирует автор этого беглого портрета поэт Василий Каменский, — русский Оскар Уайльд».

Но почему же — с Подъяческой? А потому что на Подъяческой, на Средней Подъяческой, Северянин жил. «Чтобы попасть к нему, надо было пройти не то через прачечную, не то через кухню, в которой занимались стиркой несколько женщин».

Это уже вспоминает другой близкий Северянину человек, поэт Бенедикт Лившиц. И продолжает: «Мы очутились в совершенно темной комнате с наглухо заколоченными окнами. Жестом... он пригласил нас сесть на огромный, дребезжащий всеми пружинами диван».

Да, покои не королевские. Но ведь никогда не были королевскими и доходы Северянина, даже в лучшие его годы.

Темнота, сырость, должно быть от соседства с прачечной, и обилие сухих цветов вызывали представление о склепе. Нужна была поэстине безудержная фантазия, чтобы, живя в такой промозглой трущобе, воображать себя владельцем «озерзамков».

«Озерзамок» — это сугубо северянинское изобретение. Он вообще был мастак придумывать разные красивые слова. Как, впрочем, и «красивую» реальность, в чем не то что бы раскаялся перед смертью, но дал самому себе трезвую и жесткую оценку.

«Мешали мне моя строптивость и заносчивость юношеская, самовлюбленность глуповатая и какое-то общее скольжение по окружающему. В значительной степени это относится к женщинам».

Женщины тем не менее верили ему, о чем тот же Бенедикт Лившиц не без ехидства упоминает в своих мемуарах.

«Мы попали некстати. У Северянина, верного расписанию, которое он печатал еще на обложках своих первых брошюр, был час приема поклонниц».

Хозяин с деланным смирением сообщил об этом гостям, и те вскорости собственными глазами убедились, что все — правда. Влетела раскрасневшаяся на морозе девушка с букетом (это зимой-то!), смутилась, увидев незнакомых людей, но король, как и подобает королю, спокойно «взял из рук госты цветы и, — вспоминает Лившиц, — усадил ее рядом с нами. Через четверть часа — еще одна поклонница».

Всех их Северянин привечал, всем уделял внимание, а с иними сходилась достаточно близко и на довольно продол-

...ное время. Так, Мария Васильевна Домбровская, она же Волянская, хоть и не состояла с Игорем Васильевичем в официальном браке, прожила с ним в качестве жены более шести лет, несмотря на то, что в реестре дам, которым он соблаговолил дать в своей жизни более или менее определенное место, она проходила под несчастливой цифрой 13.

То была знаменитая Тринадцатая, которой посвящено восьмое издание «Громкокопящего кубка» и которой он, помимо порядкового номера, присвоил с воистину королевской щедростью имя царицы Савской...

И все же магическое число оправдало свою темную сущность: осенью 1921 года грянул разрыв.

«Мария Васильевна, за семь лет не пожелавшая меня понять и ко мне приблизиться, снова одинока, — писал он своей живущей в Стокгольме поклоннице и покровительнице Августе Барановой. — Я жалею ее, но виноватых себя не чувствую. Вы знаете сами, что давно уже все шло к этому. Жить с поэтом — подвиг, на который не все способны. Поэт, пожертвовавший семью годами свободы своей во имя Любви и ее не обретший, прав прекратить в конце концов принесение этой жертвы».

Что-то, а напугать туману «король поэтов» умел. Все обстояло куда проще — он встретил другую. Случилось это в эстонском поселке Тойла.

«Тойла расположена на высоком берегу моря, вся в сонах и золотистых полях», — так непривычно сдержанно и даже скупо описывает это местечко Северянин, впервые попавший сюда в 1912 году и настолько очарованный красотами Финского залива, что потом не раз проводил здесь лето, пока не поселился всерьез и надолго. Это произошло в 1918 году. Вскоре Эстония отделилась от России, и поэт оказался в эмиграции. Сам он, впрочем, этот очевидный факт признавать решительно отказывался.

*Нет, я не беженец, и я не эмигрант...*

Кто же в таком случае? Дачник. «...Я не эмигрант и не беженец. Я просто дачник».

И «дачу» свою он, надо сказать, обожал, причем виртуоз эпитетов и сравнений находил для нее самые что ни на есть притягательные слова. «Тойла — Крым в миниатюре; море, нависшие отвесные скалы над ним, леса. И в них — 76 озер».

Когда-то, до войны, это был модный курорт, на лето сюда съезжались богатые люди, играли оркестры и пели хоры, но теперь все опустело и запаршивело, обвалилась открытая эстрада в парке, так что проводить культурные мероприятия — а вкус к ним у местного населения сохранился — приходилось в помещении пожарной охраны. Здесь-то, на вечер поэзии и музыки, и увидел впервые Северянин юную дочь плотника Фелиссу Круут.

Сперва она прочла стихи эстонского поэта Фридеберта Тугласа, затем перешла на чистойший русский язык, и обомлевший «король поэтов» узнал Гоголя.

«Очарованный талантом юной чтицы, поэт Северянин, присутствующий на вечере, подошел ее поздравить», — так спустя много лет описал сцену знакомства ее невольный свидетель тойлаский старожил Р.Лейвальд. Еще Лейвальд добавил: «Через некоторое время жители Тойлы стали часто встречать свою землячку в соседнем парке Ору в обществе известного стихотворца».

Дорожки парка были усыпаны желтыми и красными листьями, но астры кое-где еще цвели. Это была та самая осень 1921 года, когда после шести с лишним лет совместной жизни Северянин вдруг обнаружил, что его прежняя подруга, ради любви к которой он, помните, жертвовал свободой, этой любви, оказывается, не оценила. Не тогда ли и появился афоризм под номером 27 (всего их, созданных явно с оглядкой на Оскара Уайльда, было у него ровно сто, и именовались они «Блестками»): «Нет ничего бесцельнее — сохраняя вынужденную честность, тяготиться ею».

Вот и решил, во имя честности, порвав со старой возлюбленной, связать жизнь с новой. Именно связать, законными узами. Уже в письме от 13 октября, говоря о предстоящей поездке в Берлин с «поэзоконцертами» — так именовал он свои выступления, — Северянин упоминает вскользь, что с ним-де «едет эстийская поэтесса Фелисса

Круут, ...невеста. Она — девятнадцатилетняя очаровалка».

Теперь они выступали вдвоем. Главным, конечно, был он — Игорь Северянин всегда и везде был главным, — а она дополняла его речитатив чтением собственных стихов, которые писала как по-эстонски, так и по-русски. На сцену, правда, выходила не под своим именем — он, с королевской опять-таки щедростью, избрал для нее звучный псевдоним — Ариадна Изумрудная.

21 декабря 1921 года поэтесса Изумрудная, она же Круут, и поэт Северянин, он же Лотарев, обвенчались в одном из православных храмов города Тарту. Король нашел свою королеву.

Они даже внешне подходили друг другу: она была почти такой же высокой, как он. А уж о внутреннем соответствии и говорить не приходится.

«Жена моя — хорошая, добрая, изящная. Боготворит меня и мое творчество... Мне с нею очень легко и уютно. Беспokoит только меня ее здоровье: на днях она готовится стать матерью...»

Северянин преувеличивал: матерью она готовилась стать не на днях, а месяца эдак через полтора. Что и произошло ровно в срок, 1 августа 1922 года.

Словом отчаянное сопротивление батюшки, «король поэтов» дал своему наследнику языческое имя — Вакх. Доказал, что есть-таки в святцах такой мученик... Итак, он стал мужем, стал отцом, стал главой семейства, но это мало отразилось на его образе жизни. «Моя жена действует на меня благотворно: я абсолютно свободен, она совсем не ревнива, современна, чутка, развита, талантлива». Идеализирует? Да нет, не идеализирует, но опускает кое-какие краски, а без них образ этой женщины будет не полон.

Качество, о котором он забывает упомянуть, — ее женское начало; оно проявлялось у нее столь органично, что он, вечно сосредоточенный на себе, попросту не замечал его. Лишь однажды был удивлен и даже несколько шокирован. Сила этого удивления оказалась едва ли не сильнее страха смерти: оба в тот момент были на краю гибели.

Случилось это во время турне по Югославии, в Герцеговине, вскоре после грозы. Рассказ об этом, а точнее, очерк, впервые напечатанный лишь в 1987 году, к столетнему юбилею поэта, так и называется («Гроза в Герцеговине»).

Фелисса выведена здесь под именем Ирис. Она и ее спутник, от имени которого ведется повествование, то есть автор, возвращаются с Адриатического побережья в Белград, и в горах на их поезд обрушивается «ослепительная и звонкая южная гроза». Вволю налюбовавшись ею, путешественники ложатся спать и через некоторое время пробуждаются от страшного грохота: ливень размыл путь, и поезд, сойдя с рельсов, полетел под откос.

«Ирис падала головой вниз, я — ногами. В душе — чувство смерти. Страха, — я это утверждаю, — не было. Было, скорее, чувство обреченности. Возможно, мы просто не успели испугаться: падение продолжалось несколько секунд. Вагон внезапно во что-то уперся. Меня треснуло головой о стенку. Удар был смягчен бархатной обивкой».

А что же Фелисса? То бишь Ирис... «Ирис, сидя где-то на двери или стенке вагона, может быть, на спинке кресла, — в точности не помню, — вынула из сумочки зеркало и туалетные принадлежности и стала приводить себя, как бы ничего не случилось, в порядок».

Он решил, что от потрясения она слегка тронулась умом. Ничего подобного, она была в полном рассудке, хотя ему показалось, что «ее хладнокровие граничило с бесчувственностью».

Как бы не так! Хладнокровие не оставило эту женщину — воистину женщину — не только в краткие мгновения железнодорожной катастрофы, о которой писали многие газеты (одна заметка называлась «Едва не погиб Игорь Северянин»), но и в постигшей их семью катастрофе жизненной.

Собственно, то был побочный эффект планетарного катаклизма. Выражаясь высокочпарным языком, — а в рассказе о поэте, у которого не дрогнула рука написать: «Я, гений Игорь Северянин», он, по-видимому, уместен, — они попали под колесо истории.

Отрезанный от родины, лишенный читателей и, следовательно, издателей, «король поэтов» оказался нищим. Не в переносном, не в метафорическом, а в самом что ни на есть прямом смысле слова. Его снадали «думы об ежедневном добывании буквально куска черного хлеба на свое пропитание и на пропитание болезненной и хрупкой жены с ребенком...»

Это — из письма, в конце которого он, оправдываясь за долгое молчание, объясняет, почему так редко пишет: денег «и на марку часто нет». Но это еще не самый конец письма, дальше следует примечательная — и замечательная! — фраза: «Такая нужда, а злости нет ни к кому». Чему и сам слегка удивляется: «Уж такова, видно, душа поэта».

Остается одна надежда — на «поэзкоконцерты», которые когда-то проходили с неизменным триумфом и давали немалые сборы. Теперь, однако, времена изменились. Залы по-прежнему полны, поскольку почти во всех крупных европейских городах живут бежавшие от революции русские эмигранты, но это, как правило, люди неимущие, поэтому выручка сплошь да рядом не покрывает затрат: переезды, отели... Да и на сцену не выйдешь в чем попало. Оба же — и он, и она — совсем обносились.

«Приехали мы в Германию нищими: я — в рабочей, заплятанной куртке, Фелисса Михайловна в пальто из одеяла».

В пальто из одеяла! А ведь она — совсем еще молодая женщина, красавица, умница, блестяще образованный человек. «Да, — сокрушено признает он, — Фелисса Михайловна достойна лучшей участи. Я очень виноват перед ней. Мне так трудно вернуть ее безоблачность».

Ну какая уж тут безоблачность, если на хлеб денег нет, а на руках у тебя ребенок. Даже два ребенка, ибо муж ее, большой, ладно скроенный человек, — тоже что малое дитя. К жизни совершенно не приспособлен — лишь стихи умеет слагать да удить рыбу. (Северянин был азартным рыболовом, и она разделяла эту его страсть.) Но на охучечки, которые неплохо клевали в этих местах, и на «поэзы», которые писались и печатались все труднее, не проживешь. И тогда она взвалила заботу о семье на себя.

На шелковую фабрику Ариадна Изумрудная идет простой рабочей. С ее здоровьем! «Она и всегда-то была малокровна и слаба», — писал он в самом начале их совместной жизни, но тогда еще он мог обеспечить и себя, и жену, и ребенка.

Теперь все на ней. Поддерживает огонь в домашнем очаге («Фелисса Михайловна чрезвычайно притомилась, так как на ней лежит все хозяйство»), зарабатывает деньги — сперва на фабрике, потом на заводе, где схватывает воспаление почек, воспитывает сына да еще помогает мужу в его литературных занятиях: вдвоем составляют «Антологию эстонской поэзии за сто лет». Мудрено ли, что от нее «один скелет остался!» Ей, естественно, эти слов не говорит — разве можно подобное говорить женщине! — но в письмах постоянно делится своими тайными страхами и своим отчаянием. «Фелисса Михайловна так измучилась и устала...», «Фелисса Михайловна получила ангину...», «Очень нехороший кашель...».

И все-таки поэт света, как он не без торжественной гордости назвал себя однажды, Северянин не впадает в отчаяние. А если и впадает (и даже пишет «Поэзу отчаянья»), то не навсегда, не безнадежно. В конце концов все не так уж скверно...

*Как хорошо, что вспыхнут снова эти  
Цветы в полях под небом голубым!  
Как хорошо, что ты живешь на свете  
И красишь мир присутствием своим!*

Эти стихи обращены к Фелиссе Круут. Написанные не просто «королем поэтов», а королем в изгнании, они воочию демонстрируют то величие и ту красоту духа, какие прежде скрывались под жалкой, нелепой, смешной позолотой монаршей мантии.

*Как хорошо, что в общем веишем шуме  
Милей всего твой голос голубой,  
Что, умирая, я еще не умер  
И перед смертью встретился с тобой!*

Он понимает: ему повезло, что на его пути — пути века, у которого, по собственному его определению, характер «очень трудный и замысловатый», — попала такая женщина. «В наши дни, — пишет он поэту Георгию Шенгели, — то редкостно. Нам надо ценить милость, нам ниспосланную. Беречь надо подруг».

Переписка с Шенгели охватывает почти полтора десятилетия, и чем дальше, тем настойчивей, тем громче, тем трагичней звучит в ней тема возвращения на родину. Впрочем, она звучит не только в письмах, но и в стихах. Он и прежде подумывал уехать в Россию, но ведь жена-эстонка любит свою родину не меньше, нежели он свою.

В отрывочных автобиографических заметках — последнем прозаическом произведении Северянина, увидевшим свет почти через пятьдесят лет после смерти автора, — описывается имевший место эпизод в Берлине, когда он, «угоняемый друзьями, хотел, не заезжая в Эстонию, вернуться в СССР». Разговор об этом спонтанно возник во время прощального ужина в ресторане, «когда билеты на поезд и пароход до Таллинна, — пишет Северянин, — были уже куплены и лежали у нее в сумочке». Несколько часов промедления, и они потеряли бы силу... Встревоженная Фелисса раза два или три напомнила об этом, друзья же не нашли ничего лучшего, как успокоить ее тем, что, дескать, без труда достанут им билеты прямо в Москву. «Тогда она, совершенно перепуганная, вскочила и бросилась в гардеробную, схватив на ходу пальто».

Муж, конечно, поспешил за ней.

«...Когда я выбежал на улицу, я увидел спутницу, буквально несущуюся по пустому городу и надевавшую на ходу пальто. Было около трех часов ночи. Мы бежали таким образом через весь город до нашего отдаленного района. Было жутко, позорно и возмутительно. Я все боялся ее оставить: мне казалось, или она покончит с собою, или возвратится одна на родину».

Прошли годы, и теперь в таком же положении оказался он. И вопрос стоял точно так же: либо умереть, либо вернуться.

В 1935 году Северянин уезжает из глухой, забытой Богом и людьми деревушки в столичный город Таллинн, откуда, кажется ему, легче перебраться в Россию. У него появляется другая женщина, Вера Борисовна Коренева, также иступленно мечтающая о России.

*Я здесь, но разум мой... он вдалеке,  
На обожжаемой моей реке...*

Формально эти написанные осенью 1935 года стихи посвящены Тойле: по ней скучает он, по ее дивным рекам и озерам, но — не только по ним. И спустя пять лет, трудных, нищих, полных унижений и отчаянных бесполезных попыток вернуться на родину, он теперь уже прямо обращается к верной Фелиссе.

*Нас двадцать лет связует — жизни треть,  
И ты мне дорога совсем особо,  
Я при тебе хотел бы умереть!  
Любовь моя воистину до гроба.*

Слова о смерти — не поэтическое преувеличение: Северянин очень болен, он чувствует, что конец его близок. Куда ближе, нежели тогда, во время крушения поезда, когда его прелестная спутница, женщина до мозга костей, принялась как ни в чем не бывало пудрить носик. Пробегая мысленным взором их долгую жизнь, он, само собой, вспоминает и об этом тогда таком страшном, а теперь кажущемся трогательно-смешным приключении, и о наступившем их в 1933 году землетрясении в Румынии.

*Всегда был благосклонен небосклон  
К нам в пору ту, когда мы были вместе:  
Пусть в Сербии нас в бездну влек вагон,  
Пусть сотрясала почва в Бухаресте.*

Жить ему оставалось считанные недели. Тут уж не до «поэз» и не до поз. Последняя строфа его последнего стихотворения начинается простыми словами — быть может, самыми простыми и самыми пронзительными из всего, что написал за свою жизнь «король поэтов».

*Одна мечта: вернуться бы к тебе...*